

Синяя кровь

Автор:

Юрий Буйда

Синяя кровь

Юрий Васильевич Буйда

Ида Змойро – героиня нового романа Буйды «Синяя кровь» – прекрасный художественный двойник реальной актрисы советского кино сороковых годов прошлого века Валентины Караваевой. Очень быстро ставшая звездой, Караваева столь же быстро сгорает в зените славы. Сталинская премия, стремительный взлет карьеры, приглашения в постановки ведущих европейских театров, брак с английским атташе Джорджем Чапменом – и тут же чудовищная автокатастрофа, навсегда обезобразившая лицо красавицы. Развод, возвращение в Союз, старость в новой, постперестроечной России.

Буйда превращает реальную трагическую судьбу в прекрасную легенду. Сотворенный вокруг Караваевой и ее времени миф завораживает и пленяет. А литературное мастерство, с которым написан роман, вряд ли оставит равнодушными даже самых искушенных ценителей слова.

Юрий Буйда

Синяя кровь

Часы в Африке пробили три, когда старуха сползла с кровати, сунула ноги в домашние туфли без задников с надписью на стельках: «Rose of Harem», надела черное чугунное пальто до пят – у порядочных женщин нет ног – и високосную шляпу, распахнула окно и выпустила из спичечного коробка Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, Господа нашего, Спасителя и Stomoxys Calcitrans.

Осенью Ида ловила снулую муху, иногда это была Musca Domestica, но чаще Stomoxys Calcitrans, засовывала ее в спичечный коробок и относила на почту. Там коробок заворачивали в плотную коричневую бумагу и запечатывали сургучом. Старуха старательно выводила на бумаге свой адрес, после чего начальник почты Незевайлошадь прятал крошечную бандероль в сейф, где она лежала до весны рядом со связкой чеснока, початой бутылкой водки, сушеным лещом и черной ваксой в круглой жестянке. В апреле горбатенькая Баба Жа приносила Иде пахучую бандероль, за что та угощала почтальонку рюмочкой ломовой самогонки и соленой баранкой. А в ночь на пасхальное воскресенье вытряхивала муху на ладонь и терпеливо ждала, когда та придет в себя. Насекомое делало круг по ладони, проваливаясь в глубокие и кривые борозды старухиной судьбы, взбиралось на холм Юпитера у основания желтого от табака указательного пальца, замирало на несколько мгновений, а потом вдруг, вспыхнув крылышками, бросалось в открытое окно и тотчас скрывалось из виду.

«Христос воскрес, – шептала Ида вслед мухе. – Воистину воскрес».

Так было каждый год, но не в эту ночь. На этот раз муха лишь чуть-чуть проползла и замерла, так и не расправив крылышки. Наверное, ее не устраивала погода за окном: лил дождь, было ветрено, холодно. Ида вернула муху в спичечный коробок, спрятала его в карман, закрыла окно и вышла из дома.

От ее дома до площади было всего около трехсот метров. Обычно эта дорога занимала у Иды минут десять, а то и меньше. Но на этот раз все было иначе. Фонари вдоль ухабистой улицы не горели, дождь поливал щербатый асфальт, обочины раскисли, подъем казался особенно крутым, домашние туфли сваливались с ног, а сильный ветер рвал и подбрасывал мокрые полы тяжелого расстегнутого пальто, мешая удерживать равновесие. На полпути она упала на колени, потеряла туфлю, ветром сорвало шляпку, и на площадь Ида явилась босой и простоволосой, в распахнутом пальто.

Площадь была пустынна. В центре ее высилась уродливая черная горловина древнего колодца, окруженная полуразрушенными каменными водопойными бадьями, а вокруг стояли церковь Воскресения Господня, аптека с заспиртованными карликами в витрине, ресторан «Собака Павлова», милиция, почта, торговые ряды – Каменные корпуса, Трансформатор – памятник Пушкину с фонарем в вытянутой руке, Немецкий дом – больница, построенная в 1948 году немецкими военнопленными, и где-то там, за больницей, в колышущейся влажной мгле, угадывалась крыша крематория с медным ангелом на высокой дымовой трубе.

Ида перевела дух и, прихрамывая сильнее обычного, двинулась к милиции. Поднялась на крыльцо, постучала – дверь тотчас распахнулась. На пороге стоял начальник милиции майор Пан Паратов. Тяжело дыша, старуха шагнула к Паратову, протянула руку, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, и вдруг упала – Паратов едва успел ее подхватить.

Пьяница Люминий отвез тело в больницу на тачке. На этой тачке он доставлял старухам мешки с сахаром, уголь, навоз и тем зарабатывал себе на бутылку или хотя бы на стакан ломовой. В базарные дни эта тачка была нарасхват у торговцев, привозивших в Чудов из деревень свиные туши и мешки с картошкой. Люминий называл тачку «снарядом» и никогда ее не мыл, поэтому хозяина, отсыпавшегося после попойки где-нибудь в кустах, всегда можно было отыскать по запаху его «снаряда». И вот «снаряд» опять пригодился. Люминий толкал перед собой тачку, с которой свисали старухины босые ноги, а сзади бежала горбатенькая Баба Жа с туфлей Иды в руках.

Во дворе Немецкого дома Иду уже ждал доктор Жерех, необъятный обжора с корягой в зубах, которую он называл своей трубкой. Иду внесли в приемный покой. Шрам, начинавшийся на лбу, был едва заметен на левой брови, струился по щеке и рассекал губу. Когда-то его приходилось прятать под слоем грима, ну а теперь ее морщины были глубже этого старого шрама. На шее у нее вместо креста висел почерневший от времени ключ, а в кармане пальто обнаружили спичечный коробок с мухой. Доктор кивнул, тело накрыли простыней и увезли.

То, что произошло с Идой Змойро, никого в городке не удивило. Все понимали, что дело тут в голубках, только в голубках.

Голубкой называли девочку, которая шла в похоронной процессии с птицей в руках. Путь от церкви до крематория занимал всего десять минут, и, чтобы растянуть прощание, люди давным-давно придумали особый ритуал. Похоронная процессия – впереди карлик Карл в счастливых ботинках, с древней иконой в руках, за ним старик Четверяго в своих чудовищных сапогах, который вел под уздцы черного коня, тащившего повозку с гробом, а позади провожающие в черном, тянувшие «Вечную память», – трижды обходила площадь, посыпанную сахаром (когда площадь обходила свадебная процессия, под ноги людям сыпали соль). В гуще черной толпы шла девочка, одетая в белое платье, с белым платком на голове и белой голубкой в руках. Затем процессия направлялась к крематорию, над входом в который красовалась выполненная готическими буквами надпись: «Feuer macht frei». Когда же гроб погружался в огонь и над крематорием начинал тягуче петь в свой рожок медный ангел, люди расступались, освобождая место для девочки с белой птицей. Дождавшись тишины, она привставала на цыпочки и высоко поднимала руки, выпуская голубку на волю. В этот миг все взгляды были прикованы к девочке в белом, такой юной, такой милой, такой красивой, а она плавным движением опускала руки и склоняла головку, и белый платок скрывал ее рдеющее личико, а голубка тем временем, сделав круг-другой в тесном помещении, где душно пахло машинным маслом и угарным газом, вылетала в окно и возносилась в небо, опережая черный дым, поднимавшийся над трубой...

Всем чудовским матерям хотелось, чтобы их девочки хоть раз в жизни блеснули в этой роли – в белом платье, с белой голубкой в руках, у всех на виду. Ида Змойро вела в клубе танцевальный кружок, где разучивала с девочками и роль голубки. Учила их держать спину прямо, правильно двигаться, вживаться в образ. Матери охотно отдавали дочерей в школу – все-таки старуха Змойро когда-то была актрисой, настоящей актрисой, лауреатом Сталинской премии, играла в кино и театре, девочкам было чему у нее поучиться.

И вот эти девочки стали исчезать.

Первой из голубок пропала Лиза Добычина. Ее хватились к вечеру, поднялся переполох, родители бегали по родственникам, женщины кричали и плакали, кто-то сказал, что Лизу видели на берегу, и тогда Виктор Добычин, отец

девочки, созвал мужчин, и они до утра прочесывали берега, а потом принялись шуровать баграми с лодок, но так никого и не подняли со дна.

А рано утром пьяница Люминий обнаружил Лизины туфельки на крышке колодца, горловина которого торчала в центре городской площади. На этом месте люди оставляли потерянные кем-нибудь вещи – зонты, галоши, перчатки, поэтому Люминий и не удивился, увидев там эти туфельки. Белые туфли-лодочки на низком каблучке. На всякий случай Люминий заглянул в дежурку и сказал о находке лейтенанту Черви. Когда туфли увидела Нина Добычина, она охнула и упала в обморок. Начальник милиции Пан Паратов запер туфельки в своем сейфе.

Через два дня пропала Аня Шакирова. Наутро после ее исчезновения на крышке колодца оказались туфли девочки. Потом там же нашли туфли Лолы Кузнецовой, цыганочки.

Люди с ужасом обходили колодец стороной. В магазинах, в школе, в бане, в ресторане «Собака Павлова» только и разговоров было что о пропавших девочках и о маньяках. Люди перестали выпускать девочек на улицу. Безалаберная пьяница Чича, нарожавшая кучу детей от разных мужчин, разрешала малышам играть во дворе только на привязи: каждый ребенок держал на поводке другого, они путались в веревках, падали, орали, но мать была непреклонна. Мужчины достали из кладовок ружья. Пан Паратов попросил жителей без особой нужды не выходить ночью из домов.

Городской сумасшедший Шут Ньютон, таскавшийся по Чудову со стулом в руках, старик в коротких жалких брючишках, с утра до вечера вопил: «Карфагеняне! Оно уже здесь! Оно вернулось, карфагеняне!» Он всегда выкрикивал эти слова, но теперь никто над ним не потешался, потому что оно и впрямь вернулось, оно было уже здесь.

Первые туфельки, вторые, третьи...

Чудов был буквально заполонен сыщиками из Москвы, которые опрашивали родителей пропавших девочек, их родственников, соседей, продавцов в ночных магазинах и даже високосных людей вроде пьяницы Люминия. Никто, однако, не мог сообщить ничего полезного. Милиция обшарила город и окрестности – безрезультатно. На всех столбах висели ксерокопии фотографий, с которых

улыбались маленькие голубки.

Как говорили в городке, доконало Иду исчезновение двенадцатилетней Жени Абелевой. Именно тогда старуха и призналась начальнику милиции майору Паратову в том, что в ту ночь, когда пропала первая девочка, она услышала стук в дверь.

Часы в Африке пробили три, старуха встала, спустилась вниз и открыла дверь, но на крыльце никого не было. Тогда она подумала, что стук ей послышался. Мало ли, бывает. Но через два дня, когда пропала Аня Шакирова, в дверь снова постучали. И на этот раз никакой ошибки не было, Ида отчетливо слышала стук: раз-два-три, пауза, раз-два-три, пауза и снова – раз-два-три. Не стук, а грохот. Она вышла на крыльцо, но снова никого не обнаружила. В чем была – в пальто, шляпке и домашних туфлях – она поднялась к площади и увидела на крышке колодца туфельки Ани Шакировой. Но старуха не могла понять, почему отправилась на площадь, и тогда не уловила никакой связи между стуком в дверь и исчезновением голубки.

Спустя пять дней она опять услышала стук в дверь, поднялась к площади и нашла на крышке колодца туфельки Лолы Кузнецовой, цыганочки, и вот тут-то старуха поняла, что стук в дверь не был случайностью – он предназначался ей, он был зовом и вызовом. Пропадали только девочки-голубки, и всякий раз кто-то хотел, чтобы первой об этом узнала Ида Змойро.

«Каждую ночь я жду стука в дверь, – сказала старуха. – Каждую ночь я думаю о следующей девочке...»

Это ее и доконало.

Давно уже Чудов не видел таких многолюдных похорон. Тысячи людей собрались на городской площади, вымощенной двадцатичетырехфунтовыми пушечными ядрами и усыпанной по старинному обычаю сахаром, и под душераздирающий рев духового оркестра тело старухи было предано огню, и служитель крематория Брат Февраль был как никогда мрачен и величествен, и кожаный фартук его колко блестел на солнце серебряным шитьем, и медный ангел на высокой дымовой трубе пел так светло и чисто, провожая душу Иды Змойро на небеса...

А после похорон в ресторане «Собака Павлова» собралось множество людей, чтобы помянуть старуху. Тут были доктор Жерех, аптекарь Сиверс, начальник милиции Пан Паратов, знахарка и колдунья Свинина Ивановна, тощая Скарлатина со своим Горибабой, который по такому случаю нацепил умопомрачительный галстук с изображением сисястой Маргарет Тэтчер, начальник почты Незевайлошадь, старенький прокурор Швили с женой Иголочкой, городской сумасшедший Шут Ньютон с собственным стулом, десятипудовая хозяйка ресторана Малина, горбатенькая почтальонка Баба Жа, Эсэсовка Дора, карлик Карл в счастливых ботинках, шальной старик Штоп, его стоквартирная дочь Камелия, ее муж Крокодил Гена, пьяница Люминий, глухонемая банщица Муму, Четверяго в своих чудовищных сапогах, семейство Черви – милиционеры, парикмахеры и скрипачи, директриса школы Цикута Львовна, прекрасная дурочка Лилая Фимочка и множество Однобрюховых – все эти бесчисленные Николаи, Михаилы, Петры, Иваны, Сергейи, Елены, Ксении, Галины и даже одна Констанция, черт бы ее подрал, Феофилактовна Однобрюхова-Мирвальд-Оглы притащилась об руку с мужем-цыганом...

На поминках-то вдруг и выяснилось, как мало люди знали об Иде Змойро. Гораздо меньше, чем о других жителях Чудова. О других-то знали почти все. Знали, что пьяница Люминий, похваляющийся своим членом с ногтем, который обеспечивал ему неизменный успех у женщин, на самом деле имел успех только у глухонемой банщицы Муму. Что у жены доктора Жереха свиной хвост. Что аптекарь Сиверс делает себе клизму с водкой. Что священник отец Дмитрий Охотников боится пауков. Что прабабка Нины Казариновой умерла от стыда после того, как пукнула в гостях. Что хозяйка ресторана Малина подмешивает в самогон куриный помет. Что директриса школы Цикута Львовна во сне ругается как пьяный сапожник. Что Анна Ахматова никогда не писала стихов, потому что всю жизнь торговала селедкой в Каменных корпусах. Что Гитлер – незаконный брат Сталина. Что водку делают из бензина. Что русалки не курят. Что солнце встает на востоке, а садится где надо. Что дважды два – четыре.

А вот старуха Змойро для всех оставалась загадкой. Ей было за восемьдесят, но к врачу она обратилась лишь однажды, когда поняла, что с недержанием мочи ей самой не справиться. Никаких других жалоб на здоровье у нее не было. Утром она съедала тарелку овсяной каши на воде и без соли, на ночь выпивала стакан простокваши с горошиной черного перца. Выкуривала десять сигарет в день и за обедом иногда выпивала рюмку ломовой. Каждый день совершала многокилометровые прогулки по лесам – прямая, как выстрел, в чугунном пальто до пят и в шляпке. Никто не видел ее плачущей, никто не слышал от нее жалоб.

Она всегда играла роль стойкой женщины. Гордо вскинутый подбородок, твердый взгляд, ясный ум. Никогда не ходила в общественную баню – предпочитала мыться дома, из кувшина. И ни разу не присоединилась к женщинам в четверг на Страстной, когда на рассвете они плескались в ледяной воде у Чистого берега, чтобы перед Пасхой смыть с себя грехи. Она сторонилась толпы. В магазинах ее обвешивали и обмеривали безбожно, вызывая зло, но она никогда не вступала в споры с продавцами, ждавшими, когда же она сорвется, закричит, пожалуется, чтобы насладиться ее унижением. Не дождались. Она не проливали ни слезинки, когда хоронила близких. Она никогда не спрашивала служителя крематория, сколько вышло пепла после сожжения усопшего. Другие спрашивали обязательно. Люди гордились тем, что их покойник потянул аж четыре фунта, тогда как соседский едва вытянул три (овечью шерсть и пепел в Чудове считали только на фунты). Ида же молча забирала урну с прахом и уходила домой, не оборачиваясь, – прямая, как выстрел, взгляд свысока. Ни вздоха, ни слезинки.

В Чудове знали, что в наказание за то, что она вышла за иностранца, Сталин лишил ее возможности сниматься в кино, играть в театре и вообще выслал из Москвы. Она потеряла все. Но если ее пытались жалеть, называли бедной и несчастной, Ида отвечала с ледяной усмешкой: «От счастья толстеют». В ее присутствии люди почему-то чувствовали себя неловко, стесненно. Даже дома она всегда носила туфли на высоких каблуках. Это в восемьдесят-то с лишним лет! Иностранка, а не женщина. Существо из иного мира.

Актриса, муж-иностранец, Сталин, школа голубок... кто-то вспомнил о ее отце-дворянине, командире Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, и о матери-проститутке, а кто-то – о третьем муже, генерале, которого объявили врагом народа и расстреляли незадолго до смерти Сталина...

Ее образ пытались сложить, как пазл, но получалось все одно и то же: одинокая высокомерная чудачка, которая была богатой и прославленной, а потом стала бедной и ничтожной... учила голубок, пила свою простоквашу с черным перцем, выкуривала десять сигарет в день...

– Ну что ж, – сказал доктор Жерех, когда поминки близились к концу, – она была актрисой, хотя мы мало что знаем о ее ролях. Но мы точно знаем, что одна роль ей все же удалась – роль Иды Змойро, актрисы.

Все встали и выпили за Иду Змойро, актрису. Выпили, как и полагается на поминках, молча и не чокаясь.

3

Для меня Ида Змойро была любимой теткой. Она звала меня Пятницей, и это мое уличное прозвище, образованное от фамилии Пятницкий, в ее устах звучало как волшебное заклинание.

– Пятница, мы идем гулять! – кричала она с лестницы, и я вылетал во двор.

Никто не знал столько о прошлом города, сколько знала она.

Однажды мы остановились у ресторана «Собака Павлова», к стене которого притулился узкий двухэтажный домишко с вывеской «Фотография». В городке и фотоателье, и фотографов называли странным словом – Сюр Мезюр, но я никогда не задумывался – почему. Ида рассказала мне о московском французе, который в 20-х годах XIX века открыл в этом домике модное ателье. Он ежегодно устраивал показы новых коллекций одежды при помощи двух деревянных кукол-манекенов, у которых были свои имена – Большая Пандора и Маленькая. Большая Пандора использовалась для демонстрации верхней одежды, а на Маленькую надевали нижнее белье. На память о французе, получившем прозвище Сюр Мезюр, в городской библиотеке остался модный журнал, который портной привез из столицы. В журнале сообщалось, что в 1825 году в Париже вместо зеленых очков принято носить синие, любить деревню, подавать померанцевое мороженое и в общественных купальнях прыгать в воду на манер некоего мсье Жако – согнувшись по-обезьяньи. Этот Сюр Мезюр и его потомки обшивали немногочисленных дам из чудовского общества, а по ночам – африканок – девушек из публичного дома. Летом 1919 года отец Иды – Александр Змойро, командир Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, приказал сжечь эти «фигуры разврата» прилюдно на городской площади. А вскоре после Гражданской войны здесь открылась фотография.

Мы пересекали площадь, и Ида рассказывала о церкви Воскресения Господня, висившейся между аптекой и Немецким домом. То ли случайно, то ли по

замыслу строителей под сводами этой церкви всегда трещал мороз. Покойники, которых оставляли на ночь в храме, к утру покрывались инеем, а священник и прихожане разговаривали с Богом только о самом важном, чтобы не замерзнуть.

А еще в период Смуты, случившейся после смерти Ивана Грозного, именно в этой церкви молились о спасении России. По словам Иды, здесь, в Чудове, собрались отовсюду люди, чтобы узнать имя того, кто будет владеть Россией, кто прекратит войну и установит мир на этой земле. В центре храма, на аналое, где обычно лежало открытое Евангелие, положили чистый лист бумаги. После этого все вышли из церкви и заперли дверь. В те годы никаких домов вокруг не было, ни аптеки, ни Немецкого дома, на вершине холма стояла только церковь. Тысячи людей, съехавшихся сюда со всей России, опустили на колени – у стен храма, и ниже, и на берегу – и стали молиться, чтобы Бог открыл им имя спасителя и начертал его на бумаге, оставленной на аналое. Их молитвы звучали все настойчивее, все горячее, они молились день и ночь, под палящим солнцем и под проливным дождем, на снегу и на зеленой траве, и настал день, когда Бог внял их молитвам: на бумаге сами собой появились буквы и возникло имя...

– Какое имя? – спросил я.

Ида с улыбкой покачала головой:

– Это так и осталось тайной.

Церковь, аптека, крематорий, Немецкий дом, Африка, Французский мост, Восьмичасовая улица...

Благодаря Иде, благодаря ее историям маленький скучный городок оживал, его образ приобретал глубину, а его история, наполнявшаяся людьми и событиями, – драматизм. Суровые бородатые мужчины в ферязях и бобровых шапках, дамы в кринолинах, нищие и дегенераты, вооруженные крепостными ружьями Гана-Крнка и знаменами, убеленными кровью Агнца... страсти бушевали, кровь лилась, свершались подвиги святости – такой была настоящая жизнь Чудова по версии Иды...

Часто наши прогулки заканчивались на Кошкином мосту.

Издали этот огрызок недостроенного моста казался каким-то динозавром с длинной шеей, бессильно зависшей над водой: бетонные блоки, которые преграждали вход на мост, полувыветрившиеся и заваленные хламом железобетонные плиты настила, ржавые прутья арматуры со свисавшими с них веревками, сосульками мха, разросшиеся среди мусора кривые березки и хилые тополя... Казалось, что не сегодня завтра это тоскливое длинношеее чудовище непременно обрушится, но оно не рушилось, продолжая висеть над водой цвета крепкого чая, поддерживаемое тремя циклопическими обомшелыми опорами – одна на берегу, на склоне холма, две в воде, – и служившее разве что напоминанием о тех временах, когда через эти места пытались проложить водный путь в Индию – канал, который соединил бы великие русские реки с реками великой Индии, бесцельно и бесплодно кипевшей богатством в ожидании московской безжалостной власти, ее воинов, кабатчиков и царей... Почему Индия? Ложь, сказка, красота – потому и Индия. Потому что вода. Но эта ложь, эта дурацкая сказка так нравилась людям, так глубоко проникла в их сознание, что никто ни о чем другом и не думал, кроме как об Индии – о мерцающем призраке волшебного юга, откуда всегда приходили только беды, кочевники, холера или Сталин, но куда все равно стремилось русское сердце, мечтавшее о юге – о солнечном юге, с неодолимой силой притягивавшем русского человека, который тысячу лет жил в магическом мире сновидений, под серым небом, в бурой одежде и с кровоточащим сердцем, не умирающим только потому, что где-то там, за лесами и горами, существовала цветущая и волшебная Индия...

Первая стройка, затеянная Петром Великим, вскоре захлебнулась и утонула в зыбучих топях, тянувшихся к югу от города. Вторую стройку остановила война 1914 года, третью – смерть Сталина, хотя именно с третьей попытки и удалось осушить часть болот и построить самый глубокий в мире канал, в стенах которого – шесть метров гидротехнического цемента марки 1000 – навсегда упокоились несколько десятков заключенных, чьи локти, пятки и затылки случайно обнаруживались при шлифовке бетонных поверхностей.

Летом 1953 года замерли, как по команде, паровозы и пароходы, грузовики и деррики, бетономешалки и компрессоры. В один день угасло возведение памятника Генералиссимусу, подножием которому служил безымянный холм южнее Чудова. Усилиями землекопов и каменотесов холм был превращен в правильную четырехстороннюю пирамиду, иссеченную с каждой стороны широкими ступенями, с плоской вершиной, где успели установить лишь левый сапог вождя – тридцать пять метров высотой – да подвесить на крюке крана кисть правой руки, указывавшей направление грядущих походов за счастьем. И

долго еще огромная пятерня с металлическим визгом раскачивалась на ветру, омываемая вялокипящими серыми облаками, пугая птиц и бобров и не давая заснуть старикам, иногда выбиравшимся на недостроенный мост поглазеть на чернеющую вдаль на фоне неба пятерню, которая медленно вращалась на тросе и вызывала судорожные приступы мучительно-болезненного скрипа у решетчатой стрелы подъемного крана, забытого на вершине безымянного холма...

Однажды кран обрушился, после чего металл вывезли в переплавку, а на дне недостроенного канала образовались болота, в которых боялись отражаться даже перелетные птицы; шестиметровые стены, не выдержав утомительного натиска древесных корней, треснули и стали осыпаться; узкоколейка, выстроенная специально для подвоза грузов и продовольственного снабжения строителей, на всем своем протяжении погрузилась в вечную зыбь; в заросшем кувшинками, рдестами и тиной затоне вода превратилась в густой кроваво-ржавый суп с затонувшими баржами; а вскоре леса, болота и речушки, год от года, от половодья к половодью менявшие русла, поглотили остатки великой стройки.

Уцелел только этот огрызок захламленного моста – вытянувшее над озером длинную шею угрюмо-величественное костлявое чудовище на циклопических лапах.

Метрах в двухстах от моста, у догнивающего причала, стоял пароход «Хайдарабад», наполовину погрузившийся в жидкую грязь. Когда-то он был гордостью Чудова. Этот хищнорылый, узкий, стремительный красавец был построен и оснащен по последнему слову когдатошней техники: верхняя палуба из крупнированной стали, мощные котлы Нормана, гребные колеса Моргана и двадцатипятиствольная митральеза Кристофа и Монтиньи на носу. Укомплектованный отчаянным экипажем, он уверенно плавал по речушкам и великим рекам, по морям и океанам, добираясь даже до Индии и возвращаясь с грузом славного лавра и звонких лимонов, а главное – помогая людям чувствовать себя жителями большого мира и одаривая их праздниками прибытия, когда весь городок собирался на пристани, чтобы под звуки парового оркестра, пушечные залпы и звон колоколов встретить настоящий корабль, надышаться запахами лимона и лавра, сандалового дерева и кофе, надивиться чудесам заморской науки и техники вроде китайцев, пулеметов Максима и ученых обезьян, нарадоваться, нажраться, напиться и наплясаться всласть, от пуза, до колик и даже, может быть, до упаду. И ничего, что до колик и до

упаду, – зато было о чем потом вспоминать зимними вечерами в «Собаке Павлова» за стаканом гиблого самогона или дома под кашель стариков, стук швейной машинки и завывание свирепых ледяных ветров, гудевших над великими русскими равнинами, где жизнь едва теплилась, а самыми яркими праздниками были бунты, пожары и раздача бесплатных костылей, залежавшихся на складах со времен Первой мировой...

Я таращился с моста на верхушки сосен и елей, пытаюсь разглядеть вдали призрак волшебной страны, а Ида закуривала сигарету и принималась методично и безжалостно разрушать все эти мифы, сказки и прямое вранье.

Ну да, говорила она, при Петре I и Николае II здесь пытались построить канал, но лишь затем, чтобы обеспечить торговое судоходство на малых реках Волжско-Окского бассейна, а при Сталине и вовсе непонятно что строили – то ли канал, то ли тоннель, то ли шоссе. Не исключено, что стройка была затеяна с военной целью – чтобы обеспечить скрытное передвижение техники в Московской зоне противовоздушной обороны.

Что касается «Хайдарабада», то в 1894 году один купец приобрел его в Англии, доставил посуху из Петербурга в Чудов, оборудовал на верхней палубе ресторан, а на нижней – номера с проститутками, и по желанию подгулявших гостей пароход мог сделать неполный круг по озеру – до Французского моста и обратно, пугая старушек ревом сирены и нестройным пением сладких скрипок.

– Мечта же... – Ида выпустила дым кольцами. – Ну да, мечта... она, конечно, осталась... куда же русскому человеку без Индии? Без сладких скрипок – куда? Без мечты – как без коровы: не выжить...

Ида часто вспоминала о своих учителях – об актрисе Серафиме Биргер, Великой Фиме, и ее муже Константине Борисовиче Бродском, которого все называли просто – Кабо. Вскоре после двадцатого съезда Фима была реабилитирована, вышла на волю, вернулась в Москву и написала Иде. Она бросилась в столицу – никого ближе Фимы и Кабо у нее тогда не было. Втроем – Серафима, Кабо и Ида – они отправились в «Метрополь». Серафима шутила, смеялась, рассказывала о

годах, проведенных в Северном Казахстане, о театре, который она организовала в лагере:

– Смерть Хозяина мы отметили «Гамлетом». Лагерь-то женский, и все мужские роли исполняли женщины. Я была Клавдием. Когда меня убили, зал встал и зааплодировал!

Когда она вышла в туалет, Кабо наклонился к Иде:

– Помнишь разговор Гамлета с актерами, прибывшими по его приглашению в Эльсинор? Гамлет просит актера прочесть монолог Энея... о смерти Приама и о царице Гекубе...

Ида кивнула.

– Вчера вечером Фима перед зеркалом начала читать... ни с того ни с сего... Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую босой в слепых слезах, Грозящих пламени; лоскут накинута на венценосное чело... и вдруг заплакала... – Кабо жалобно улыбнулся. – Она то и дело бежит в туалет... застудила там мочевого пузыря... цистит...

Вернулась Серафима, и Кабо с пафосом заговорил о провинции: «История пишется в столицах, но делается в маленьких городках». К их столику подошел офицер с букетом цветов, извинился, начал говорить что-то о великом вкладе Серафимы Биргер в советское искусство, о том, что ее роли навсегда останутся в истории кино...

– При условии, что история кино останется в истории, – с улыбкой прервала его Серафима, принимая розы. – Спасибо, полковник.

А когда он отошел, вдруг с ожесточением сказала Иде:

– Замысел, вот что спасает. У тебя должен быть замысел, мечта, и тогда ты останешься свободным человеком в самой страшной тюрьме. Сосредоточься на замысле!

Перевела дух, обмякла.

– Как ты там, в своем Чудове? Чем живешь?

– Продаю шубы.

– Шубы?

– Я привезла из Англии двадцать шуб. Горностаи, соболь... На это можно жить.

– Но шубы не могут быть замыслом.

Они заговорили о будущем – Фима мечтала о возвращении в театр, о новых ролях в кино. «Я готова всех этих гертруд и катерин ложкой есть, – говорила она. – Я не соскучилась – я проголодалась!»

Через полтора месяца Серафима отравилась нембуталом. Покончила с собой через сорок семь дней после выхода на свободу.

Был понедельник, когда Ида получила телеграмму от Кабо. Похороны Фимы были назначены на среду.

До Москвы тогда можно было добраться только на попутках – либо на леспромхозовской машине, либо на телеге с кем-нибудь из чудовцев, отправлявшихся на базар. Но день был будний, никто в столицу не собирался, и Иде пришлось идти пешком до Кандаурова.

Всю жизнь потом она вспоминала об этом путешествии.

В шляпке с вуалью, в черном легком пальто, в туфлях на высоких каблуках она часа два добиралась до Кандаурова. Холодный ветер, дождь, липкая слякоть – это в разгар лета. Всякий раз при встрече с груженым лесовозом Иде приходилось выбираться на обочину, прятаться в придорожной канаве от грязных брызг. Промокшая и озябшая, в Кандаурове она зашла в столовку, выпила рюмку водки и съела бутерброд с сыром – твердым, как фанера. Мужчины в ватниках и женщины в темных платках, сидевшие за столами, с любопытством поглядывали на Иду, пахнущую французскими духами. Она не замечала их взглядов. Она думала о Фиме, о Великой Фиме, о бессмертной Фиме.

Нембутал – это ведь, кажется, снотворное. Яд. Фима приняла яд и умерла. Как это происходит? Она легла в горячую воду, приняла горсть таблеток и уснула навсегда. Нет, вряд ли. Фима наверняка подумала о своем увядающем нагом теле, которое чужие люди будут вытаскивать из ванны, чертыхаясь сквозь зубы. Нет и нет. Она сходила в парикмахерскую, сделала маникюр и педикюр, надела красивое платье, выпила полбокала шампанского...

При этом Ида мысленно перебирала платья Фимы, остановилась на элегантном темно-синем: оно подчеркивало девичью фигуру иставляло напоказ стройные ноги. В таком – хоть на бал, хоть на тот свет. Ну и еще – туфли-лодочки, тонкая нитка жемчуга, серьги с крошечными бриллиантами, три капли духов, бледная помада, сигарета с золотым мундштуком...

Ида подняла голову – на нее смотрела вся столовка – и поняла, что плачет в голос.

Потом она забралась в кузов попутки, устроилась среди мешков, рядом с мужчинами в телогрейках и женщинами в темных платках, и уснула, а когда на Казанском вокзале очнулась, выяснилось, что у нее украли сумочку, в которой был кошелек со всеми деньгами. Уже темнело, когда она добралась пешком до квартиры Кабо и узнала, что гроб с телом Фимы увезли на Кандауровское кладбище. Она заняла денег у прислуги, поймала такси, но когда приехала на кладбище, там уже никого не было, и сколько ни бродила она в темноте по дорожкам между оградями, отыскать могилу Фимы так и не смогла. Пришлось пешком возвращаться в Чудов – под холодным дождем, по липкой грязи. На полдороге сломался каблук. Ида оглянулась – никого поблизости не было – и заревела.

Ей не удалось проводить Фиму в последний путь.

Фима... темно-синее платье, сигареты с золотым мундштуком, хриплый голос...

Ида сняла туфли и пошлепала в шелковых чулках по грязи.

Ей было горько, стыдно и одиноко.

Через неделю она получила от Кабо письмо – оно было, как обычно, многословным: «В юности мы часто судили о жизни, о людях с высоты

ненаписанных книг и несыгранных ролей. Мы верили в бога, который жил в наших душах, а потому были жестоки к окружающим: бог других людей казался нам существом низким, ниже нашего. Тогда мы еще не понимали, что в Бога не верить надо – Его надо любить, как любят свое дитя. Любовь спасала Фиму в лагере. Помнишь, в ресторане она говорила тебе о замысле, который позволяет оставаться свободным даже в тюрьме? На самом деле она говорила о любви».

Кабо всегда был склонен к резонерству, ему хотелось поговорить, а Фимы рядом не было. Кабо боялся пустоты и пытался ее заговорить. Фима не боялась пустоты, которую называла родиной и домом актера. Но только настоящему художнику, говорила она, по силам создать такую пустоту, в которой звезда загорится сама собой.

Тогда-то Ида и подумала впервые о том, что именно к этому – к попыткам зажечь в пустоте звезду – и сведется вся ее жизнь, и ей впервые стало страшно.

Замысел, любовь, Бог, липкая грязь...

– Спектакль близится к концу, – сказала мне Ида, – а я так и не поняла, что за роль я играю. Фима говорила, что нередко окончательный смысл роли становится ясен только после того, как она сыграна. – Помолчала. – Жалкая царица... Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую босой в слепых слезах, Грозящих пламени; лоскут накинут На венценосное чело...

Мы стояли на Кошкином мосту, и ее волшебный гнусавый голос звучал в темноте печально, но не жалобно.

Я вышел из «Собаки Павлова», где продолжались поминки, обошел площадь и спустился по Жидовской к Французскому мосту. Здесь начинались наши долгие прогулки. Ида брала меня за руку – мне бывало страшно, когда мимо нас по мосту проезжали тяжелые грузовики, – и мы поднимались по отлогому берегу к лесу. Справа тянулись склады леспромхоза, горы бревен, щепы и опилок. Мы выбирались на знакомую тропу и углублялись в лес.

Целью наших походов почти всегда была Хилая церковь, примечательная только тем, что когда-то Лошадка тайком от мужа крестила там Иду. Церковь была давно заброшена, превратилась в груду гнилых бревен, ничего там не было

интересного, но в лесу так хорошо дышалось...

А иной раз мы устраивались на берегу озера. Ида курила, я бросал камешки в воду, считая «блины».

Я попытался вспомнить, когда мы с ней гуляли в последний раз, – похоже, лет за пять до ее смерти.

Вечерело.

Я вернулся на площадь.

В «Собаке Павлова» еще продолжались поминки, но мне хотелось побыть в одиночестве, и я отправился на Кошкин мост.

Не помню, сколько времени я провел там, сколько сигарет выкурил, думая об Иде Змойро.

Ее образ был рассыпан в моей жизни, как кусочки смальты, и так получалось, что только мне было под силу собрать мозаику из этих кусочков, из этих обрывков и обломков.

Я думал о Чудове, который не сегодня завтра станет частью Москвы, растворится в ней, исчезнет, и вдруг понял, что должен рассказать об этом. Обо всем этом. Об этом городе и этих людях. О братьях-палачах, основателях Чудова, и о Спящей красавице, о пароходе «Хайдарабад», Ханне и капитане Холупьеве, об Александре Змойро, командире Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина, и его жене Лошадке, о черном пятне судьбы и Кошкином мосте, о Коле Вдовушкине и подкованных огнем конях, о Бабе Шубе, о волшебной Индии, о дьявольской тяге к саморазрушению и божественной страсти к полету, наконец о боге – и о боге тоже, о боге лиловом и золотом...

Африка – это обшарпанные фальшивые колонны по фасаду, облупившаяся штукатурка, заколоченные окна первого этажа, просевшая крыша, залатанная где жестью, где железом, а где досками вкривь и вкось. Над входом угадывались остатки герба, принадлежавшего какому-то Африкану Петровскому, одному из прежних владельцев дома: вверху в круге три звезды, а под ними – рука в стальной перчатке, сжимающая кривую татарскую саблю. Вокруг здания – кусты бузины, сирени, сгнившие поленницы, осыпи мусора, кучи битого кирпича и ржавого железа. Внутри пахло мышами и нафталином, всюду из щелей торчали клочья пакли, а из дыр в полу тянуло холодом и сыростью. Люди отсюда давно повыезжали – осталась одна Ида, занимавшая наверху квартиру в три комнаты с кухней.

За четыреста с лишним лет этот дом сменил множество хозяев, которые перестраивали его под свои нужды. В здании переносили стены, лестницы и коридоры, пробивали новые окна, залы превращали в каморки, а закутки объединяли в залы, и однажды так увлеклись, что замуровали в каком-то простенке напольные часы в вишневом корпусе. Спихнулись, когда в три часа пополудни эти часы начали отбивать время. Сломали одну стену, другую, сунулись туда, слазили сюда, но часов так и не нашли и махнули рукой: иссякнет же когда-нибудь завод – часы остановятся сами собой. Но завод не иссякал – часы продолжали каждую ночь отбивать три. Днем они молчали, а ночью, ровно в три часа, где-то в глубине дома раздавался тихий стон, а потом – три полновесных звучных удара, которые были слышны далеко вокруг. И так – ночь за ночью, год за годом. Бой был громким, отчетливым, но сколько ни искали, сколько ни ломали стены, часы отыскать так и не смогли, словно это был не механизм в вишневом ящике, а неотпущенная грешная душа, обреченная маяться в этих африканских лабиринтах до Страшного суда.

В детстве Ида считала, что часы эти бьют по ночам неспроста. Это был зов, не иначе. Зов будущего, голос самой судьбы. Остальным слышался надоедливый, но привычный бой часов, а ей – глас Божий. Но ведь она была не такой, как все. Она была избранницей. К семи годам она прочла «Муму», «Гамлета» и взялась за «Материализм и эмпириокритицизм».

Чуть не каждую ночь, когда часы в Африке били три, она вылезала из-под одеяла и спускалась во двор. Приподнималась на цыпочки и зажмуривалась, чтоб лучше слышать. Проходила минута, другая, но ничего, кроме однообразного шума деревьев да плеска воды, расслышать ей не удавалось. Бесполоая ночь пахла соснами, свиньями и смородиной. Девочка возвращалась в

постель немножко расстроенная, но не разочарованная. Ну ничего, говорила она себе, значит, еще не время, значит, все впереди, и ей еще откроется смысл этих звуков.

А вот мой отец никакого смысла в этих звуках не улавливал. Бой часов его раздражал. Он несколько раз порывался отыскать и сокрушить этот чертов механизм, который мешал спать, но без помощи соседей это было сделать невозможно, а с соседями отец не ладил. Он вообще плохо сходилась с людьми – был вспыльчив, раздражителен, резок. Иногда же на него накатывали приступы черной меланхолии – и тогда он мог молчать неделями.

Однажды мать сказала, что и в лагерь он попал не из-за политики, а из-за характера: в самом конце войны, будучи начальником штаба полка, вступил в конфликт с начальством, наговорил лишнего и загремел по пятьдесят восьмой десятой на Колыму. Впрочем, мои родители были из тех русских людей, которые считали позором даже незаслуженное наказание, а потому в нашей семье и не было принято говорить о прошлом отца.

Когда мои родители поселились в Африке, здесь кипела жизнь: стучали швейные машинки, пахло жареной рыбой и керосином, соседки плевали друг дружке в суп, варившийся на общих кухнях, соседи играли во дворе в домино, пили водку и отмечали дракой что свадьбы, что похороны. И все держали кур, уток, гусей, свиней, коров – Африка была окружена кривыми пахучими сараями и сарайчиками, из которых несло хрюканье, мычанье и кудахтанье.

Отец ненавидел эту жизнь, этот «пороссячий мезозой», как он говорил, и не скрывал презрения к соседям. Он выделялся ростом, начитанностью, манерами среди маленьких, кургузых мужчин, сморкавшихся в кулак, и чувствовал себя львом среди мышей. Он работал заместителем директора леспромхоза, но мечтал о другой жизни. Мечтал – и ничего не делал для того, чтобы осуществить мечту. Он напоминал могучий паровоз, который вскоре после войны привезли в Чудов и установили на пустыре. Это была огромная звероподобная машина, воплощение силы и порыва, способная мчать по рельсам тысячетонные составы, а вместо этого ей приходилось обеспечивать теплом больницу, школу, детдом и жалкий молочный заводик – несколько подслеповатых сарайчиков, стоявших на берегу озера и вонявших вечной кислятиной.

Я остался без отца, когда мне не исполнилось и семи.

Это было летним вечером, мы с африканскими мальчишками играли в прятки, и я залез в подвал. Забился за старую бочку и замер. Через минуту услышал чьи-то шаги и выглянул. Это был отец.

Из груды досок, сваленных в самой дальней комнате, он вытащил небольшое березовое бревно – метра полтора длиной и сантиметров тридцать диаметром. Он уложил его на козлы и начал избивать, крича при каждом ударе так, словно это не он, а его били плеткой, сплетенной из стальной проволоки.

Да, все было именно так.

Он спустился в подвал, включил свет, уложил березовое бревно на козлы, снял рубашку, вооружился кнутом, сплетенным из тонкой стальной проволоки, обошел комнатку по кругу, примериваясь, и нанес первый удар. После первого удара на бревне лопнула кора, но это был удар вполсилы, для разминки. Второй и третий были посильнее, а после шестого или седьмого в месте удара кора уже стала отлетать от ствола клочьями, и следующий удар пришелся по влажному белому березовому телу. Бревно содрогалось, и вот тогда, почувствовав наконец сопротивление дерева, отец принялся за дело по-настоящему. Глаза его сузились, рот чуть-чуть приоткрылся, лоб, шея и плечи увлажнились потом. Он откидывался назад и вбок, занося кнут для удара, и со всей силой обрушивался на березу, и с каждым разом его удар становился все сильнее, все яростнее, все безжалостнее, а дыхание – все жарче, и вскоре он уже выдыхал с громким хрипом, вскрикивал, выхаркивая слюну, не замечая крови, пятнавшей его руки и майку, и мелких крошек и щепок, летевших в его искаженное лицо, а скрученный из стальной проволоки кнут свистел, извивался и бил, крошил, добивал дрожащее, истерзанное, окровавленное дерево, и страшная тень металась по комнате с белеными стенами, содрогаясь, вопя и корчась, пока наконец, с последним ударом, переломившим бревно, обессиленный мужчина не упал на колени и замер, прерывисто дыша, всхлипывая и мотая головой, а кровь из носа и из разверстого его рта текла по подбородку и стекала слизистыми струйками на пол, в его черную тень...

Я выскользнул за дверь и бросился наверх, в кухню, забрался под стол, лег на пол лицом к стене и закрыл глаза. Вибрирующие волны темного ужаса, тошноты и боли накатывали на меня со всех сторон. Они зарождались где-то внизу, в подвале или даже в центре земли, и стремительно проникали сквозь дерево,

кирпич и бетон, вызывая у меня тошноту, головную боль и ужас. Этот ужас был всюду, он захлестывал меня с головой. Зло неистовствовало, бесновалось, меня трясло. Я прижался к стене, скорчился, задрожал, наконец обмочился, но при этом не испытал облегчения. А потом потерял сознание.

Не знаю, сколько я пролежал под столом. А когда очнулся, в первый миг не смог пошевелинуться – мне казалось, что все тело мое было покрыто ожогами.

Наконец я выбрался из-под стола, на подгибающихся ногах подошел к окну, лег грудью на подоконник, и в этот миг крошечные библейские тучи – уголь, серебро и кровь – сомкнулись над нашим домом, ударил гром, и на землю упали первые капли дождя, а через мгновение даль и близь заволочло шумным и дымным ливнем.

Двор превратился в большую кипящую, пузырящуюся лужу, в которой подпрыгивали и кружились щепки и куриные перья.

– Это надолго, – услышал я голос отца.

Я обернулся.

Он неслышно вошел в кухню и сел на табуретку, положив на стол крупные руки со вздувшимися венами. В полумраке кухни я не мог разглядеть его лица.

Вошла мать, включила свет.

Отец смотрел на меня. Он еще никогда не смотрел на меня так – такими глазами. Этот его взгляд был мне незнаком, и я испугался.

К семи годам список моих прегрешений уже не умещался на детской ладони – мне не раз перепало за разные проделки. Меня ни разу не били, но часто ругали. Когда меня ругали, я, конечно, видел и чувствовал, что родители огорчены, но того, что называется жгучим стыдом, не испытывал. Родители были для меня существами хоть и всезнающими, всемогущими и вездесущими, но словно бы бесплотными. То есть они были голосами, запахами и прикосновениями, растворенными в моей жизни, но значившими не больше, чем, например, деревья или кошки. В моем бессмертном и потому бесстыжем мире их

существование было естественным, то есть лишенным смысла.

Тем июльским вечером все изменилось.

Отец смотрел на меня тяжелым взглядом и молчал, поигрывая желваками. Еще за минуту до того я точно знал, что не совершил ничего такого, за что меня следовало наказать. Минуту назад я был уверен в своей невинности. Но внезапно все изменилось: дух отца отделился от мира деревьев и кошек и воплотился – сразу и целиком. Воплотился в этого рослого и сильного мужчину с твердым подбородком.

Он молча сидел за столом, не сводя с меня тяжелого взгляда. Мне стало страшно, а потом почему-то стыдно. Чувство собственной невинности мигом испарилось, я отчетливо понял, что заслуживаю жестокой кары только потому, что существую, а еще за то, что это он, отец, а не я корчился и кричал в подвале, хотя это и не имело ко мне никакого отношения, а еще за то, что я стою обоссавшийся у окна, а он сидит за столом, положив на клеенку тяжелые руки со вздувшимися венами, и в глазах его стынет арктическая злоба, которая не имеет ко мне никакого отношения, но вот я стою обоссавшийся у окна и понимаю, что виновен уже только потому, что я – его сын, и это – непоправимо...

Меня ободрали до мяса и выставили на стоградусный мороз. Опозоренного, голого, ободранного до алого дымящегося мяса. Пятьдесят две тысячи сто семьдесят три острых ледяных иголки впились в мою трепещущую плоть. Или даже пятьдесят две тысячи сто семьдесят четыре.

Страх и стыд вошли в мой мир, придав ему смысл, и это было неотменимо, как смерть.

Я содрогнулся всем своим тощим существом и собрался было зареветь, но тут дверь распахнулась, и в кухню вошла Ида. Она поставила на пол чемоданчик, сбросила промокший светлый плащ, шляпку, туфли – все как будто одним движением – и проговорила своим волшебным низким, чуть гнусавым голосом:

– Слава Богу, у вас тут ничего не изменилось!

Я уставился на ее босые ноги и вдруг понял, что меня так привлекло: ее пальцы. Я еще никогда не обращал внимания на женские пальцы, тем более – на пальцы

ног, а тут не мог отвести взгляда от босых ног Иды. Может быть, все дело было только в том, что ее пальцы не были изуродованы тесной обувью, как у других чудовских женщин. Ногти у нашей соседки тети Брыси были желтыми, толстыми и рифлеными, а у Иды были не ногти, а крошечные жемчужные полумесяцы. Пальцы и ногти, всего-навсего пальцы и ногти. Мне вдруг почему-то захотелось попробовать их на вкус, эти пальцы. Взять губами, как вишенку, ее левый мизинчик. Он был очень красив. Мучительно красив. Мысль о красоте пришла в мою голову впервые и так же внезапно, разом, как минуту назад – стыд, ошеломляющий, смрадный, жгучий, и эта мысль пронзила меня такой болью, что я отчаянно заревел.

Ну конечно же, я знал Иду, она была частью моего мира, но частью, повторяю, декоративной, как отец и мать, как деревья или кошки. Я слышал, что она была актрисой, снималась в кино, а еще она жила за границей, откуда привезла – на зависть всем чудовским женщинам – какие-то сногшибательные платья, туфли, шубы, перчатки. Еще я знал, что нормальная температура у нее была, как у кошки, 38 градусов. И что у нее никогда не было и не будет детей. Лицо ее было разделено шрамом, спускавшимся по правой щеке у носа и особенно уродовавшим верхнюю губу. А еще она прихрамывала. Несколько раз в год она ездила в Москву по каким-то делам, а когда возвращалась, мать говорила: «Несчастливая ты, Ида», а та отвечала: «От счастья толстеют».

Волшебный гнусавый голос, смех, красивые платья, шрам – образ получался хоть и яркий, но плоский, безжизненный.

И вот все изменилось: я увидел Иду новыми глазами.

Она стояла посреди кухни – босая, стройная, высокая, смеющаяся, в каком-то чудесном взволнованном платье, вся как будто светящаяся, струящаяся, пахнущая влажной и прохладной свежестью, а я – ревел.

Она взяла меня за руку и силком потащила вверх. Так получилось, что я еще ни разу не бывал в ее квартирке. Мы поднялись в маленькую комнатку под крышей: узкая кровать, комод и захламленный письменный стол – книги, утюг, швейная машинка, обрезки ткани, бумаги, поникшие цветы в пузатой вазе, россыпь карандашей...

Ида распахнула окно, в которое хлынули звуки удаляющейся грозы, слабеющий шум дождя, блаженные запахи сладкой гнили и прели. Присела передо мной – подол платья взлетел и опал, обдав меня пахучим теплом, – взяла за ухо и спросила своим волшебным голосом:

– Скажи-ка, а какое у тебя тайное имя?

Я смутился и перестал всхлипывать.

– У каждого человека есть тайное имя, – продолжала она. – Одно его имя известно всем, а другое, тайное, настоящее, знает только он сам. Кто ты на самом деле, Алеша? Как ты думаешь?

Я стал мысленно перебирать имена, которые мне нравились. Например, Сталин. У нас была книга с тисненым портретом Сталина: благородная седина, белый мундир, золотые погоны – воплощение красоты, силы и правды. Были еще два прекрасных имени – Аллигатор и Герой Советского Союза, мне нравилось, как они звучат. Или Голиаф. Я добрался до Библии для детей, валявшейся на чердаке среди других старых книг, и прочел историю о Давиде и Голиафе. Конечно же, моим героем стал не жалкий жулик Давид, а филистимлянин Голиаф – одиннадцати с лишним футов ростом, весь облитый чешуйчатой медной броней, которая весила пять тысяч загадочных сиклей, с мечом и копьем, настоящий Аллигатор и Герой Советского Союза, друг Сталина. Еще я прочел историю о Тезее, который победил Минотавра, получил в награду Ариадну и сбежал от злобного Миноса. Почему бы и не Тезей?

Пока я перебирал имена, Ида внимательно следила за мною. Я поднял на нее взгляд, и она вдруг кивнула, словно угадав мои мысли и одобряя мой выбор. Но какое из моих имен ей понравилось? Сталин или Голиаф? А может, все-таки Аллигатор?

– Можешь пока ничего мне не говорить, – сказала она. – Когда-нибудь сам поймешь, какое имя – настоящее. Некоторые так и остаются безымянными до самой смерти.

– А у тебя какое?

– У меня... Ты никому не скажешь?

– Могила, – пообещал я. – Могила с тремя крестами.

– Ну что ж, – сказала она. – Морвал и мономил, вот какое у меня тайное имя. Морвал и мономил.

Это было, конечно, очень необычное имя, обладавшее сразу тремя достоинствами: оно было сложным, звучным и бессмысленным.

Ида напоила меня чаем с вареньем и уложила спать.

Утром прибежала мать. Они о чем-то пошептались, Ида погладила меня по голове, а мать сказала:

– Лучше сам. А то ведь я все время боялась, что он кого-нибудь убьет.

Той ночью умер мой отец: его сердце не выдержало пустоты жизни.

6

Вскоре после похорон Иды начальник милиции Пан Паратов отдал мне потемневший от времени ключ и спичечный коробок с мухой:

– Тебе лучше знать, как этим распорядиться.

Спичечный коробок и ключ.

Двери в Африке никогда не запирались. Когда-то и во всем Чудове никто не запирал двери. Если человек строил дом, – хотя в городе на острове из-за нехватки земли дома чаще надстраивали, – он после освящения жилища отдавал ключ в церковь на вечное хранение. В храме по обе стороны от алтаря висели ключи с выбитыми на них именами и датами, выкованные еще в 1584 году и принадлежавшие семьям, которые и до сих пор носили фамилии, впервые упомянутые в церковных книгах времен Ивана Грозного. Множество новеньких блестящих и еще больше почерневших от времени ключей висело на гвоздях,

сплошь утыкавших стену от пола до потолка. «Дьяволу наши замки нипочем, – говорил священник отец Дмитрий Охотников, – а Господу нипочем дьявол». Если что здесь и запиралось, так это колодец на площади, через который можно было попасть в ад. Даже ресторан «Собака Павлова» стоял открытым сутки напролет, и любой мог зайти и выпить из огромного медного чайника, стоявшего на низком столе возле массивной стойки. Поэтому хозяйка заведения Малина частенько вытаскивала из «Собаки» упившегося за ночь известного пьяницу Люминия, чтобы пожарная команда, поливавшая по утрам площадь и Жидовскую улицу, разбудила алкаша ледяной водой из брандспойта. «Черт бы побрал эти обычаи, – ворчала Малина. – Уж лучше один раз запереть вход, чтобы потом всю жизнь не искать выход».

Я поднялся на второй этаж, пощелкал выключателем, толкнул дверь – закрипела, застонала. Всюду пыль, сор, в чайнике накипь, на сковородке – ссохшаяся и посиневшая куриная нога. Ида всегда была неважной хозяйкой, а из-за этих своих голубок в последнее время совсем перестала следить за порядком. Вот и постель не убрана.

Первая комната, маленькая, служила гостиной и спальней: железная кровать, изразцовая печка, столик со швейной машинкой, полки с книгами, радиола, толстый шкаф. Вот тут она спала, ела, читала, принимала гостей.

Вторую комнату она называла Черной и запирала на замок. Ключ от этого замка Ида носила на груди, как нательный крест, и никому не доверяла.

Я провел рукой по косяку, пальцем нашел зарубку.

Эту зарубку сделал отец Иды вечером после того, как они вернулись из цирка.

Ида часто вспоминала о том вечере.

Цирк был редким зрелищем для захолустного городка. О советской власти здесь напоминал в те годы только позеленевший от дождей памятник Робеспьеру, Дантону и Сен-Жюсту – гипсовая глыба с тремя головами и пятью чудовищными босыми ногами. Здесь все еще мерили товар на пуды и аршины, а за невестами в качестве приданого давали навоз – без него на этих тощих землях не росло ничего, кроме крапивы и репы. Развлечений в городке было немного: Рождество,

Пасха, Троица, годовщина Октябрьской революции, свадьбы да похороны. Так что приезд цирка стал событием чрезвычайным. Афишка у входа в аптеку обещала гимнастов, клоунов, жонглеров, фокусников и львов.

Тот вечер в цирке сохранился в памяти Иды всеми запахами и звуками, всеми деталями. В шатре, раскинутом на выгоне у леса, было накурено, гремел паровой оркестр. По арене кругами скакал черный конь со стриженной гривой. Из-под его копыт летели брызги – наверное, это были опилки, но казалось, что искры. На его спине балансировала девушка, одетая в гусарский белый костюм с серебряными галунами, выпушками и с султаном из белых перьев на кивере. Лесорубы, охотники, крестьяне, ремесленники и рабочие с молокозавода, старухи, женщины и дети не отрывали взгляда от наездницы, а когда она соскочила с коня на арену, вскинула руки и поклонилась, поставив мускулистые извилистые ноги ножницами, все разом вскочили и с криком зааплодировали. Оркестр играл что-то бравурное, люди вопили и свистели от восторга, девушка кланялась и плавно взмахивала руками, пахло керосином от ламп, потом, скипидаром, табаком и сырыми опилками, и в ту минуту Ида – она много раз говорила мне об этом – поняла, что вот это, все это – атлас и перья, искры из-под копыт, вопли восторга, запахи керосина, скипидара и табака, аплодисменты и черный рот наездницы – ее путь, ее судьба, и решила, что станет актрисой. Она избрана. И африканские часы, трижды пробившие той ночью, трижды подтвердили ее выбор: да! да! да!

По возвращении домой отец поставил дочь на весы, а потом измерил ее рост, сделав перочинным ножом зарубку на дверном косяке. Девочка весила двадцать пять килограммов, а рост ее составил сто двадцать пять сантиметров. Она прожила в этом доме еще сорок сантиметров и двадцать четыре килограмма, прежде чем покинуть Чудов ради Москвы. А спустя десять лет, по возвращении из Москвы в Чудов, она весила шестьдесят два кило при росте сто семьдесят девять сантиметров.

Стоило Иде коснуться зарубки, проведя рукой по косяку, как тотчас вспоминался тот вечер, наволгшее шапито, керосиновые лампы на цепях, лоснящийся круп лошади, красные сапожки наездницы, ее туповатое красивое лицо и черный от помады рот, ее плавные руки и крепкие ноги, обтянутые лосинами, звон литавр, дымное золотистое облако под куполом цирка, запахи вина и чеснока, исходившие от отца, сто двадцать пять сантиметров, двадцать пять килограммов, ледяная льняная простыня, пахнувшая кипреем подушка, три медных удара, да, я стану актрисой, я буду великой актрисой, центром и осью

этого мира, я стану воплощением игры, любви и счастья, раз-два-три, да-да-да!..

Именно тогда она захотела сменить имя. Девочка, которой не исполнилось и семи, вдруг возненавидела свое имя – Таня. Таня не может балансировать на спине лошади, Таня не может вскидывать руки и кланяться, Тане никто не будет аплодировать. И все эти волшебные запахи – запахи керосина, скипидара, табака и вина – не для Тани. И не для Тани, нет, не для Тани каждую ночь били африканские часы.

В книжке она нашла картинку – серовский портрет Иды Рубинштейн, и образ этой женщины, и это имя заворожили ее.

– Да посмотри на нее, это ж еврейка и щепка, – сказала мать. – У этой Иды твоей в чем душа держится... это же елки-палки, а не женщина... а ты – ты роза...

Это костлявое существо на картинке и крепкая девочка с круглым беличьим лицом действительно не имели ничего общего, внешне – ничего, но девочка сразу же увидела в ней сестру по тайне и поняла, что их объединяет: отверженность, избранность.

Мать сдалась – через неделю Таня стала Идой.

Такого имени больше ни у кого не было. Имя избранницы. Но ведь ни у кого не было и такого пятна, как у нее. И если имя стало светом ее избранничества, то пятно так и осталось его тьмой. Как ад, как ночь, как смола, как грязь, как беда, как горе, как позор, как стыд, как само зло – вот что такое было родимое пятно, которое заливало грудь и живот Иды и превращало ее детскую жизнь в ад, ночь, смолу, грязь, беду, горе, позор, стыд и в само зло.

Никто – ни мать, ни доктора – поначалу не придали значения этому пятну. Да тогда оно и пятном-то не было, так, какое-то помутнение кожи, бледно-голубая тень на белой груди малышки. Однако вскоре кожа потемнела, и тень превратилась в огромное родимое пятно, заливавшее грудь, живот и стекавшее на лобок.

Мать была необразованной и простодушно-религиозной женщиной. Когда тень превратилась в пятно, она решила, что это наказание Божие. Иду водили к знахаркам, старухи что-то шептали, кололи пятно иголкой, чем-то мазали, но

снять порчу так и не смогли. Иде было стыдно раздеться перед старухами, которые жадно щупали ее своими ледяными пальцами.

– Хватит меня лечить, – сказала она матери. – Надоело, все равно без толку.

– Да ты что! – воскликнула мать. – Кому ж ты нужна будешь с этим позорищем?

Врач же только и сказал: «Никакая это не проказа. Не болит? Не чешется? Ну и ничего, можно жить. Это не опухоль, не меланома. Только вот солнца тебе надо остерегаться».

С самых малых лет она прятала ото всех это пятнище, черное с лиловым оттенком, уродовавшее ее грудь и живот. Она прятала пятно, но все о нем знали. Когда между девочками в школе вдруг завелась мода при встречах и расставаниях целоваться и какая-нибудь малышка, к умилению учителей и родителей, входя в класс, обходила всех подружек и каждую целовала, Ида забиралась под парту и молилась о том, чтобы ее позвали и поцеловали, но ее не звали и не целовали, потому что родители сказали девочкам, что она порченная.

Иногда это пятно казалось ей каким-то страшным животным или гнусным хищным лишайником, прилепившимся к ее коже, расползшимся и пустившим корни в глубину тела, вросшим в сердце, питающимся ее кровью и отравляющим ее душу страшным ядом. Она была пищей для зла, его котлетами и конфетами.

Как и все девочки в Чудове, Ида мечтала хоть разок побывать в роли голубки. Она мечтала о роли души, возносящейся на небеса, о победе белого над черным. Ведь потом еще долго люди говорили о девочке с голубкой: «Ну артистка! Настоящая артистка! Не девочка, а дар Божий!» А многие женщины до старости хранили белые платочки, в которых когда-то шли за гробом с голубкой в руках, и их даже хоронили в этих платочках. Ида втайне надеялась, что после этого вся ее жизнь изменится. Она победит пятно, и жизнь изменится.

И вот однажды это случилось. Мать уговорила соседку, у которой умер муж-пьяница, чтобы та позволила Иде проводить его в последний путь.

Ида не спала всю ночь. Она повторяла и повторяла свою роль. Вот она шествует в черной толпе, поющей «Вечную память», и под ногами ее хрустит сахар. Вот она останавливается в крематории неподалеку от гроба и ждет, пока священник

завершит обряд прощания. Вот, наконец, в маленьком зале, где пахнет машинным маслом и угарным газом, воцаряется напряженная тишина, и она, Ида, приподнимается на цыпочки, высоко поднимает руки и выпускает голубку, которая с шелковым шелестом устремляется к окну, пробитому в потолке, а Ида опускает руки и склоняет голову. А потом, когда люди расходятся и она остается одна, отворяется дверь и входит покойница, одетая во все белое. Лицо ее закрыто фатой. Покойница останавливается перед девочкой и начинает поднимать фату. Она делает это так медленно, что Ида не выдерживает и просыпается. Ее бьет дрожь. Она уже столько раз выпускала голубку из рук, столько раз отпускала душу на волю... кажется, она занимается этим всю жизнь... она устала, она вновь засыпает...

Утром ей вручили голубку, и Ида заняла свое место в похоронной процессии. Она оглохла и ослепла от волнения, у нее страшно разболелась голова, и матери пришлось толкнуть ее в спину, когда нужно было выпускать птицу на волю. Ида с трудом подняла и разжала руки, но голубка не взлетала. Люди зашептались. Ида слышала их голоса, видела их лица – все ждали, когда же она освободит душу, потому что медный ангел на крыше крематория уже запел в свой рожок, а эта чертова птица никак не хотела взлетать, и никто не понимал, в чем дело, а дело было только в том, что птица была просто задушена разволновавшейся девочкой. Она так крепко прижимала птицу к груди, что задушила ее. Когда это стало ясно и Иде, она вдруг со всего маху швырнула голубку наземь и слепо бросилась в толпу.

Потом она тысячу раз вспоминала, как шла через раздававшуюся, но никак не кончавшуюся черную толпу, как рвала с себя белый платок, как бежала через весь этот обугленный город, а потом упала на колени в каком-то закоулке, и ее вырвало чем-то кислым, черным и постыдным...

Вот тебе и великая актриса.

Она решила наказать себя, чтобы искупить вину перед людьми. Целую неделю спала на полу под кроватью. В школе она сидела на задней парте, пряча лицо, а после уроков сразу убегала домой. А еще она целыми днями мыла полы. И больше она никому не говорила о том, что станет актрисой, великой актрисой, властительницей дум и душ.

Пятно оказалось сильнее, чем она думала.

Я вставил ключ в замок со второй попытки – руки дрожали – и толкнул тяжелую дверь.

В этой комнате пахло чабрецом, зверобоем, ромашкой – сухие травы лежали охапками по углам, под прокрустовой кушеткой и в глубокоуважаемом шкафу, где хранились самые дорогие ее платья. Включил свет и опустился на табурет перед трельяжем.

Узкая неудобная кушетка, древний шкаф, сундук, трельяж и табурет – больше ничего не было в этой просторной комнате с обугленными стенами. Чтобы не пускать сюда посторонних, Ида когда-то сама протянула сюда электропроводку, прибив к стене четыре фаянсовые катушки-изолятора и фаянсовый же выключатель. Когда рычажок поворачивался, выключатель хрустел, словно был набит толченым стеклом.

Я наклонился к зеркалу, вдохнул запахи пудры и вазелина. У Иды не было денег, чтобы покупать грим в магазине, – она делала его сама. Покупала свиное сало и акварельные краски (гуашь не годилась, потому что ее делали на меду, она протухала и раздражала кожу), смешивала и растирала в фарфоровой чашке, чтобы получить театральный грим, потом наносила на лицо, превращая его в зловещую маску.

– О граждане! О цвет старейшин Аргоса! – восклицала она.

Или – медленно, вибрирующим от напряжения голосом, исполненным горечи:

– Давно уж я больна мучительным недугом...

Клитемнестра, Федра, Медея, Электра, Офелия, Гертруда, Алкмена, Джульетта, леди Макбет, Катерина, Нина Заречная, Бернарда Альба...

Вот тут, в этой комнате, она сыграла множество ролей – сыграла перед единственным зрителем, передо мной, и я был для нее и восторженным

студентом с галерки, и скучающим в ложе генералом, и плачущей в партере дамой, прячущей лицо в программке, и нетрезвым толстяком, дремлющим в кресле, и бледной девочкой с прикушенной губой...

За трельяжем стоял большой сундук, окованный черным железом. Я выдвинул его на середину комнаты, поднял крышку.

Хлам. Она сама называла все это хламом.

Этот хлам копился годами. У нее ничего, в общем, и не осталось, кроме этого хлама. Вот богемский серебряный талер с маленькой дырочкой, в которую когда-то была продета тонкая цепочка. Банка с заспиртованным свиным сердцем. Лимонные чулки с инкрустацией «шантильи». Сушеная заячья лапка. Два ружейных папковых патрона. Пачка шеллачных и виниловых грампластинок. Мешочек с фальшивым жемчугом, который в Чудове называли уклеечным. Изготавливался он просто. С чешуи самой обыкновенной уклеи *Alburnus lucidus*, водившейся в окрестных озерах и реках в изобилии, отмывались кристаллики гуанина, которые смешивались с раствором желатина, жидкого стекла или целлулоида, после чего эту эссенцию закачивали внутрь стеклянных шариков, производившихся на полукустарном заводике, и получались копеечные жемчужные бусы для деревенских красавиц. Что там еще... Крошечный колокольчик с ушком – такими когда-то обшивали рубахи прокаженных. Счет из «Националя», датированный 21 июня 1941 года: бутылка вина – 60 копеек, две порции курицы по-китайски – «чикен-чамай», две чашки кофе и два куса американского торта, итог – пять рублей на двоих. Деревенская нянька в Москве получала тогда двадцатку в месяц – это были немалые деньги. Еще... еще косынка, в которой играла в фильме, принесшем ей славу и Сталинскую премию. Чаячье перышко – память о Нине Заречной, поразившей театральную Москву. Это перышко подарил ей Лаврентий Берия, который сказал тогда, что она – лучшая Нина Заречная в истории русского театра...

А вот и ее дневник – толстая тетрадь в матерчатом переплете. На обложке аккуратно выведено – «Записки народной артистки», хотя ни народной, ни даже заслуженной она так и не стала. Да и редко она писала о кино или театре – так, отводила душу (впадая иногда в высокопарную риторику). А потом надолго забывала об этой тетради.

Эта запись сделана в день ее тридцатилетия: «Тридцать. Почему-то число это одним звучанием своим вызывает у меня озноб. Трид. Цать. Осталось прожить –

еще тридцать, а потом – сорок! – и нету, отцакано, отрезано и отброшено... И думать страшно: эти сновидения и эти люди! Ужас. Всю жизнь. Одна. Одна в этом огромном ветшающем доме, населенном немилосердными призраками, в доме, который так и будет постепенно, но неуклонно истлевать, разрушаться, пока однажды не похоронит под своими обломками одну дуру – меня, всеми покинутую и забытую. Медленно угасающую, сходящую потихоньку с ума наедине с собой, в тени теней. Не будет ни зимы, ни лета, одно лишь безвкусное, как песок, время. Когда-нибудь мне надоест стирать пыль с рояля в гостиной, кормить птиц и запира́ть на ночь входную дверь, и во всем этом не будет и тени умысла: никто не придет; потом надоест готовить горячую пищу, раздеваться и умываться; наконец моим временем станет сплошное сорок третье марта тысяча девятьсот желтого года; и однажды кто-нибудь – наверняка случайно – заглянет в захлащенное и недобро пахнущее логово, одолеет завалы из ломаной мебели и заплесневелых книг и обнаружит в самом дальнем углу некое чудовище, валяющееся на грязном полу в полуистлевшем платье, с длинными спутанными седыми космами и воспаленными пустыми глазами...»

Не было у нее в Африке ни рояля, ни гостиной, ни птиц...

Вообще-то она никогда не праздновала свой день рождения, но зато обязательно отмечала дни рождения тех, кого называла своими сообщниками. В январе это были Чехов, Мольер, Кальдерон, Бомарше, Грибоедов и Стриндберг, в феврале – Гюго и Брехт, в марте – Островский, Горький, Теннесси Уильямс и Ибсен, в апреле – Гоголь, Ростан, Шекспир, в мае – Булгаков, в июне – Корнель, Пиранделло, Лорка и Ануй, в июле – Дюма-сын, в августе – Лев Толстой, в сентябре – Сухово-Кобылин и Фолкнер, в октябре – Клейст, Артур Миллер и Юджин О'Нил, в ноябре – Лопе де Вега, Камю и Шиллер, а в декабре – Гоцци и Расин.

Язвительный Чехов, страстный Шиллер, великий минус Ибсен, ужасающий Расин, который подарил женщинам столько ролей...

Оставалось много свободных дней, чтобы помянуть, например, Феспида, Эсхила или Софокла, даты рождения которых были известны только Богу. А еще были дни рождения Эдипа и Ореста, Клитемнестры и Алкмены, Джульетты, Федры и Неры...

29 января она надевала какое-нибудь легкое, светлое платьице с дурацким зеленым пояском, 23 апреля облачалась в сукно и бархат, как и подобает

королеве Датской, а 27 июля украшала костюм цветком салуенской камелии в память о Маргарите Готье.

Когда-то она пыталась соорудить настоящий шерстяной пеплос для белорукой Клитемнестры, двуногой львицы, и льняной хитон с рукавами для Электры, но сшила, примерила – расхохоталась и отказалась от этой идеи. Этих баб можно играть голышом. Маска – вот и все, что требовалось для этих ролей. Грубая маска. Точнее, грубый грим – белила, сажа и охра на свином сале. Добро и зло, кровь и любовь.

Праздновала здесь, в этой комнате, иногда одна, иногда со мной. Наливала в рюмки ломового самогона, подкрашенного красной акварельной краской, и ставила на проигрыватель пластинку. Марлен Дитрих, Империио Архентина, Морис Шевалье или Вадим Козин...

К старости у Иды стало плохо со зрением, иногда глаза и вовсе отказывали, но провожатые в такие дни требовались лишь в том случае, если ей нужно было в город, – в доме же она ориентировалась без труда. Стоило протянуть руку, как дом подавал ей перила, предупреждал о ступеньках особенным скрипом, а о дверях – запахом веретенного масла, которым смазывали петли. Коробка с овсянкой стояла в кухне на полке справа, а соль – в чашке с отбитой ручкой, спрятанной в выдвижном ящике у плиты. Чай она отмеряла не глядя, горстью, пила чистую заварку без сахара – после первого же глотка начинало шуметь в голове. Выкуривала десять сигарет за день. Перед сном выпивала стакан простокваши с горошинкой черного перца.

Представление заканчивалось, в зале гас свет, Нина Заречная – или леди Макбет – шептала детскую молитву: «Ангел мой, ляг со мной, а ты, сатана, уйди от меня, от окон, от дверей, от кровати моей», – и засыпала...

Я знал, где Ида хранила запас спиртного. Достал непечатую поллитру из нижнего ящика трельяжа, налил в граненый стаканчик, выпил, закурил.

Лет с десяти-двенадцати я часто ловил себя на мысли о смерти. Я чувствовал, что умираю. Умираю с каждым вздохом, с каждой минутой. Но к своей смерти рано или поздно привыкаешь, к чужой – к чужой привыкнуть нельзя.

В Чудове печки топили дровами. Летом во двор привозили длинные бревна. Мужчины при помощи бензопилы резали эти бревна на чурки, которые потом нужно было колуном или топором разбить на поленья. После смерти отца эта забота легла на мои плечи. Приходя из школы, я первым делом заготавливал дрова. Проще всего было колоть сосновые чурбаки – можно было обойтись простым топором. А вот березу приходилось бить колуном до седьмого пота. Потом я растапливал печки – одну внизу, у себя, другую наверху, у Иды, – и только после этого садился за уроки.

Мать тяготилась вдовством, у нас стали появляться гости – мужчины, они приносили с собой вино и грампластинки, так что уроки я чаще всего делал наверху, у Иды.

Фараоны строили пирамиды, Волга впадала в Каспийское море, в печке истомно стонали и звонко стреляли сосновые поленья, Ида крутила швейную машинку, во дворе лаяла общая сука Щелочь, из-под двери тянуло запахами керосина и жареной рыбы, в синем морозном воздухе наливалась чистой желчью луна...

Ида вдруг убирала ногу с педали швейной машинки, потягивалась и говорила:

– А не выпить ли нам чаю, Пятница?

Мы ужинали вареной картошкой, жареной треской с черным хлебом (этот хлеб был таким клейким, что им замазывали на зиму оконные щели) и спитым чаем с сахаром. После ужина меня начинало клонить ко сну, и иногда Ида оставляла меня ночевать у себя.

Часто вечерами она давала представления в Черной комнате, и если она была Раневской, то я подавал реплики и за Гаева, и за Лопихина, и за Петю Трофимова, а если она была Федрой, то я был и Тесеем, и Ипполитом, и Тераменом, и, конечно, Эноной...

Я не сводил взгляда с Иды. Вот она делала шаг назад, вот вскидывала руку, опускала голову... ее босые ноги, ее белые руки, ее пульсирующее горло... ее

волшебный гнусавый голос... плавился и лился александрийский стих, скулила Щелочь, пахло керосином...

И когда она вдруг говорила: «Нет, все не так!» – я вздрагивал и ошалело смотрел на нее: вот это – не так? Но как же тогда – так?

– Федра боится себя, боится Ипполита, тут нет места ненависти – это же и ребенку понятно. Попробуем еще раз.

И делала шаг назад, отвернувшись и приподняв восхитительную пятку.

А когда приходила пора ложиться спать, она склонялась надо мной и спрашивала голосом Клеопатры: «Что ж, Энобарб, нам делать?» – и я отвечал ей голосом Домиция Энобарба: «Поразмыслить и умереть», – выдержав, как она учила, короткую паузу после слова «поразмыслить». Во времена Шекспира, говорила Ида, «поразмыслить» означало «опечалиться, взгрустнуть», но мне было вовсе не грустно – я засыпал, счастливый, как муха в сахаре.

Она нуждалась не столько в собеседнике, сколько в слушателе, в зрителе, и вот тут-то я ей и подвернулся: мальчик, читавший без разбору дни напролет, готовый сопереживать всем этим Электрам и Алкменам и видящий в Иде не женщину, а старшую сестру. Я был зрительным залом, идеальным бесполом существом.

О своей первой роли – о мертвой голубке – Ида впервые рассказала после того, как свою первую роль провалил я. Это случилось на новогоднем утреннике. Тетка сшила мне сногшибательный костюм Кота в сапогах, но когда пришлось защищать этот костюм, то есть читать какой-то соответствующий случаю стишок, я ничего не смог вспомнить. Мне позволили импровизировать, и я самым позорным образом стал бегать вокруг елки с истошным «мяу», за что и был вознагражден горсткой липких конфет, парой мандаринов и пачкой мокрого печенья.

Вернувшись с утренника, я залез под кровать и разревелся. Вот тогда Ида и рассказала мне о мертвой голубке и о том, как в наказание за провал целую неделю спала на полу под кроватью. А потом – о двух других своих первых ролях. Мы говорили об этом много раз.

– Спящая красавица, – сказала Ида. – Вот моя первая настоящая роль – Спящая красавица. Я сыграла ее один раз в этой вот комнате, и единственным моим зрителем был Эркель. Арно, – добавила она с улыбкой. – Арно Эркель.

Они жили по соседству: она в громоздком доме-улье, а он в тени этого улья – в аккуратном домике дедушки Иоганна, часовщика, который чинил не только часы, но и швейные машинки, велосипеды, фотоаппараты, сепараторы, граммофоны и даже телефоны, когда они появились сначала на почте, а потом в аптеке, милиции и городском совете.

Отец Арно умер вскоре после рождения сына от последствий ранений, полученных на фронтах Первой мировой. Когда Арно было тринадцать, его мать Анна Эркель заболела. Она целыми днями лежала в темной комнате, то плакала, то смеялась. Старый доктор Жерех сначала говорил о каких-то «множественных нежелательных изменениях», а потом прямо сказал, что Анне Эркель жить осталось недолго: у нее был обнаружен рак. Она лежала в тяжелом полузабытии, в комнате пахло лекарствами и горячей лампадой, которую дедушка Иоганн зажигал перед иконой, хотя внук и осуждал его за это мракобесие.

По воскресеньям в доме Иоганна Эркеля собиралась небольшая компания.

Библиотекарь Миня Иванов, который сменил фамилию, чтобы не иметь ничего общего с другими чудовскими Ивановыми, и стал называться Иванов-Не-Тот, носил гарибальдийскую шляпу, пенсне, эспаньолку и широкий плащ. Когда-то он учился на медицинском факультете, но был изгнан за участие в студенческих беспорядках, осел в Чудове, женился и стал записным циником. Он лишь изредка вставлял язвительные замечания, а так все больше молчал.

Зато старший брат хозяина – Адольф, которого все называли Мечтальоном, болтал без умолку.

– Мы были почтальонами грядущих революций! – говорил он, поводя в воздухе пальцами, униженными бледными кольцами. – Мы были хранителями мечты!

Мечтальон ненавидел Достоевского, который вывел его в романе «Бесы» в роли ничтожного прапорщика-нигилиста, зеленого юнца, участвовавшего в убийстве

Шатова.

– На тыщу страниц ни разу не упомянул моего имени! – возмущался Эркель. – Ни разу!

После развала революционной организации Эркель отправился в Петербург, чтобы встретиться с великим русским писателем и выложить ему все, что думал о романе «Бесы», но успел лишь к его похоронам. Старик Мечтальон рассказывал о неисчислимой толпе, провожавшей Достоевского в последний путь, и о венке с надписью: «От прапорщика Эркеля», который он возложил на могилу русского гения, но этот язвительный жест не был никем замечен.

А потом была эмиграция, был Париж, скудно меблированная квартирка с портретом Достоевского на стене, одинокие вечера у окна, собрания революционеров всех мастей в прокуренных кафе, унылая связь со слепой некрасивой девушкой...

Однако с возрастом Мечтальон не утратил задора, и, когда в России случилась революция, он тотчас вернулся на родину. Он хотел быть полезным революции, а его назначили заведовать чудовской жалкой канализацией, где не было никакого восторга, а только пятеро говновозов с ассенизационными бочками.

– Либо революция, либо канализация, третьего не дано! – восклицал он, простирая руку вдаль. – Чертов Достоевский! Попробовал бы он организовать вывоз мусора с наших дворов! Ничего бы у него не вышло, и не пытайся, будь ты хоть трижды Федором и четырежды Михайловичем!

Но самым интересным в этой компании был юный телефонист Коля Вдовушкин. Он мечтал написать историю Чудова и часто жаловался на то, что в архивах сохранилось так мало документов. Коля рассказывал о братьях-палачах, которые в конце XVI века основали Чудов. В разных местах их фамилия произносилась то как Босх, то как Бош, а на Руси они были известны под именем Бох. Они были фламандцами, флемингами, то есть беглецами, родились в Брабанте, в городке Хертогенбох, и принадлежали к семье потомственных палачей, которые из поколения в поколение наказывали преступников, очищали город от бродячих псов, надзирали за публичными домами и занимались врачеванием. По достижении определенного возраста братья Иаков и Иоанн сдали экзамен, чтобы стать полноправными палачами. Для этого нужно было одним ударом

вскрыть грудную клетку приговоренного, вырвать бьющееся сердце и показать его преступнику, прежде чем у того закроются глаза.

Никто не знает, что там случилось, но уже через три дня после экзамена братья бежали из города и вскоре прибыли в Москву, то есть из 1560 года от рождения Христова перенеслись в 7068 год от сотворения мира. Они привезли с собой спящую женщину, заключенную в серебряном ларце, и глубокие познания в темном ремесле, которые вызвали восхищение у царя Ивана Грозного.

В начале 1584 года братья-палачи были отпущены на покой и получили от царя в дар эти земли. Весной того же года они заложили церковь Воскресения Господня, а заодно и фундамент дома, на котором и доныне стояла Африка. По легенде, они привезли с собой в Чудов множество уродов – хромых, горбатых, слепых, проституток и юродивых, чтобы спасти их от позора и голодной смерти, а также способствовать их возрождению к новой жизни. Говорили, что церковь братья возвели, чтобы молиться о пробуждении женщины, заключенной в серебряном ларце, которая должна была стать женой одного из них. Похоже, именно эта загадочная женщина и стала причиной их бегства из Брабанта.

– И что потом? – шепотом спросила Ида. – Что с ней стало?

– Ее поместили в саркофаг, – отвечал Коля Вдовушкин, – и поставили в подвале Африки. Там она и пролежала много-много лет.

– И никто ее не разбудил?

Ее пытались разбудить, рассказывал Коля, но это никому так и не удалось. В конце концов с этим смирились. Она стала Спящей красавицей. Спящие различаются только ландшафтом, потому что у них нет ни прошлого, ни будущего. Она не утратила пола – она закрылась, как цветок. Это было чудо, и вскоре сюда пошли, как в церковь. Загадывали желания. Произносили какие-то заклинания – у многих шевелились губы. Быть может, это были вовсе и не заклинания, и не молитвы, а проклятия – их она тоже сполна заслужила. Потому что она-то и была смыслом этого города, всей этой жизни, с ее редкими просветами счастья и горькой водой в колодцах, с нескончаемым трудом, за который платили гроши или вовсе не платили, с запахом керосинок и кошачьей мочи, с беспрестанным пьянством на свадьбах и похоронах... Она вызывала восхищение и страх – ведь она пережила все и всех. Революции и войны,

ребятишек, умерших от скарлатины, и стариков, задохнувшихся избытком безжизненной жизни... Люди рождались, женились, заводили людей, строили, воевали, а она – лежала, нет, она покоилась в саркофаге, вне времен и людей, но без нее, как многие понимали, не было бы ни времен, ни людей, ни даже города, а может быть, и мира. Она была звеном, связующим мир. Старики знали, что их правнуки увидят ее точно такой же, какой видели ее они, и в этом было что-то бессмысленно-умиротворяющее: значит, есть, есть сила над временами, незримо пронизывающая человеческие жизни и превращающая их в общую жизнь. Неизменная, прекрасная, нетленная. И – живая. Вот что было важнее важного: она была живая. Она спала так давно, что одно это позволяло людям надеяться на конечную справедливость, на последний Суд, на истину в последней инстанции, которую хранила Спящая, и многим было довольно одной этой мысли, и мало кому хотелось, чтобы она вот сейчас вдруг проснулась и сказала все, что знает, потому что все были уверены: ее знания не выдержит никто. Пусть лежит, свидетельствуя жизнь и правду. Это – для всех. А когда придет время и потрясется земля, когда матери станут пожирать своих детей, а отцы – убивать сыновей, когда свихнувшиеся боги с упоением устроят великую бойню, когда вся эта жизнь окажется на самом краю и дальше идти будет некуда, – вот тогда и придут к ней миллионы, и она встанет и скажет, и только тогда все эти отчаявшиеся миллионы примут ее правду и не умрут, а сделают по слову ее и установят на земле настоящую правду...

– Ваша спящая красавица наверняка была истеричкой, – сказал Иванов-Не-Тот. – Деревенские бабы, склонные к кликушеству, часто впадают в летаргический сон. Но вы должны понимать, что человек, длительное время находящийся в таком сне, не может сохранить молодость и здоровье. Длительная обездвиженность влечет за собой множество осложнений... пролежни, септическое поражение почек, бронхов, атрофия кровеносных сосудов... Спящая красавица, которую принц разбудил своим поцелуем, проснулась тяжелым инвалидом... – И с грустью добавлял: – Красота должна прийти в мир, но вряд ли нам удастся ее спасти...

Ида была захвачена образом загадочной женщины, спящей, которая хранила в себе некую великую тайну. Она пыталась представить себя на месте этой женщины.

К тому времени, так и не дочитав «Материализм и эмпириокритицизм», она увлеклась Станиславским и пыталась понять, что такое «объект вне партнера» и

чем же искусство представления отличается от искусства переживания. Ей хотелось сыграть Спящую красавицу, но она не знала – как. Она не понимала, что та должна чувствовать и думать.

Арно посмеивался: «А что чувствует спящая? Ничего не чувствует – она просто спит. А если что-то и чувствует, то ничего об этом не помнит, когда просыпается».

Но не могла же она сыграть Спящую красавицу, которая ничего не чувствует и ни о чем не думает, а просто спит, женщину, у которой нет никакого прошлого, кроме ее собственного тела.

– Вот и сыграй тело, – насмешливо посоветовал Арно.

Вечером они заперлись в Черной комнате, Ида легла на кушетку, Арно устроился на стуле у стены.

Смеркалось.

Ида лежала на спине, скрестив ноги, и думала о Спящей красавице.

Коля Вдовушкин рассказывал, что саркофаг, в котором покоилась красавица, имел овальную форму и был сделан из чистого серебра. В овальном серебряном ларце на белом атласе лежала нагая женщина, окутанная золотистым светом. Темноволосая, с закрытыми глазами, со сложенными на груди руками и чуть разведенными в стороны ногами. Ногти на руках и ногах были жемчужно-розовые, продолговатые. Маленькие гладкие подошвы ног. Ступни тонкие, вогнутые, удлинённые. Округлые пятки, будто никогда не ведавшие веса плоти. Блестящая лягушечья кожа, покрытая золотистым пушком. Каплевидные колени. Тонкие лодыжки. Веретенообразные тугие бедра. Живот по-детски выпуклый, с пупком, напоминающим сердечко. Грудь с темными сосками. Атласные плечи и шея. На правом плече едва различимый шрам – следы человеческих зубов. Маленький крепкий подбородок, чуть приплюснутый нос. Слегка приоткрытый рот.

Ее тело было тайной, рекой и царством...

Ида вдруг почувствовала, что мучительное пятно на ее груди исчезло. Это было неожиданное и странное чувство. Она разволновалась, мысли ее спутались. Пятно не могло исчезнуть. Она читала в какой-то книжке, что актер может сколько угодно обманывать зрителей, но не себя, однако не понимала, что это значит. Значит ли это, что она не должна забывать о своем пятне, о своем проклятии, даже играя роль Спящей красавицы, чистой и беспорочной? Может быть, память о пятне придаст этой роли глубину и драматизм – Иде нравилось слово «драматизм»... и благодаря этому пятну она и сможет обмануть зрителя, оставаясь собой... Она вдруг подумала о том, что станет со Спящей красавицей, когда та вдруг очнется. Выйдет замуж, нарожает детей, заведет корову, а потом умрет, и ее поделят между собой черви и ангелы... никто ничего не знал о ее прошлом, оно появится, только когда она очнется, и лишь тогда станет ясно, кто она и что значит вся ее жизнь... и что значат жизни всех тех людей, которые приходили к ней и ждали чуда... правды, превращающей их жизнь, их историю в чудо...

– А потом... – Ида закурила десятую сигарету. – А потом Арно меня поцеловал, и я очнулась. Но поцеловал он меня не так. Не так.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/buyda_yuriy/sinyaya-krov

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)